

Сад мучений

Автор:

Октав Мирбо

Сад мучений

Октав Мирбо

«Раз вечером, у одного из наших известнейших писателей собралось несколько знакомых. Хорошо закусив, они, – не знаю, по какому поводу, а скорее всего, просто так, – разговаривали об убийстве. Здесь были только одни мужчины, – публицисты, поэты, философы, доктора, вообще – люди, могущие говорить свободно, со свойственным им остроумием, с шуточками, не боясь, что вдруг почувствуют испуг или ужас, которые вызываются чуть-чуть смелым словом на смущенном лице нотариусов. – Я сказал «нотариусов», как одинаково мог бы сказать «адвокатов» или «приказчиков», не презрения ради, конечно, но чтобы точнее определить какое-нибудь среднее состояние французского ума...»

Октав Мирбо

Сад мучений

* * *

Священникам, солдатам, судьям, людям, воспитывающим, наставляющим и управляющим людьми, посвящаю я эти страницы убийства и крови.

О. М.

Предисловие к первому изданию

Раз вечером, у одного из наших известнейших писателей собралось несколько знакомых. Хорошо закусив, они, – не знаю, по какому поводу, а скорее всего, просто так, – разговаривали об убийстве. Здесь были только одни мужчины, – публицисты, поэты, философы, доктора, вообще – люди, могущие говорить свободно, со свойственным им остроумием, с шуточками, не боясь, что вдруг почувствуют испуг или ужас, которые вызываются чуть-чуть смелым словом на смущенном лице нотариусов. – Я сказал «нотариусов», как одинаково мог бы сказать «адвокатов» или «приказчиков», не презрения ради, конечно, но чтобы точнее определить какое-нибудь среднее состояние французского ума.

С замечательным хладнокровием, таким же превосходным, как будто бы надо было выразить свое мнение о достоинствах куримой им сигары, член академии моральных и политических наук сказал:

– Честное слово!.. Я думаю, что убийство – самое величайшее человеческое занятие и что все наши действия проистекают из него...

Все ждали, что он пространно разовьет свою мысль. Но он умолк.

– Очевидно!.. – произнес один ученый дарвинист.

– И вы, дорогой мой, высказали вечную истину... потому что убийство составляет все основание наших социальных установлений, – следовательно, оно необходимее всего для цивилизованной жизни... Если бы не было больше убийства, не было бы больше никакого правительства, так как преступления вообще и убийства в частности являются не только оправданием правительства, но его единственным разумным основанием... Таким образом, мы жили бы в полнейшей анархии, чего нельзя себе представить... Итак, надо отбросить мысль совсем уничтожать убийство, а необходимо разумно и постоянно культивировать его... А я не знаю лучшего средства культивировать его, как законы.

Кто-то воскликнул:

– О, о!

– Ну, что же? – спросил ученый. – Разве мы не в своей компании и не говорим безо всяких обиняков?

– Пожалуйста! – согласился хозяин дома. – Будем широко пользоваться этим единственным случаем, когда мы можем позволить себе высказывать свои тайные мысли, потому что я в своих книгах, а вы в ваших лекциях, все мы можем преподносить публике только одну ложь...

Ученый глубже уселся в своем кресле, протянул ноги, которые от долгого лежания одна на другой порядочно онемели и, откинув назад голову, опустив руки, чувствуя приятное ощущение в желудке от пищеварения, пускал к потолку кольца из дыма.

– Впрочем, – заговорил он, – убийство в достаточной степени культивируется само собой... Проще сказать, оно не есть результат той или другой страсти или патологическая форма вырождения. Это – жизненный инстинкт, присущий нам.... имеющийся у всех органических существ и управляющий ими, как инстинкт растительный... Также верно, что долгое время эти два инстинкта так прекрасно сочетались один с другим, так полно перемешивались друг с другом, что они от части образовывали только один инстинкт и нельзя было разобрать, который из них толкает нас давать жизнь и который заставляет отнимать ее, который из них убийство и который любовь. Со мною откровенно беседовал один известный убийца, который убивал женщин не за тем, чтобы грабить их, но чтобы насиловать их. «В эти минуты, – говорил он, – я представлялся себе Богом, и мне казалось, что я творю мир!».

– А! – воскликнул знаменитый писатель. – Вы еще будете брать в пример профессиональных убийц!

Ученый мягко возразил:

– Да мы все, в большей или в меньшей степени, – убийцы... Мы все мысленно испытывали хотя бы отчасти подобные чувства... Природная необходимость убийства обуздываете, смягчается ее физическая жестокость, ей придаются дозволенные выходы: индустрия, колониальная политика, война, охота, антисемитизм... потому что опасно предаваться ей неумеренно, вне законов, и

потому что нравственное удовлетворение, извлекаемое из убийства, во всяком случае не стоит того, чтобы возиться с обыкновенными последствиями этого действия, с тюрьмой... сталкиваться с судьями, что всегда утомительно и не представляет научного интереса... наконец, с гильотиной...

- Вы преувеличиваете, - прервал первый говоривший. - Убивающим без изящества, без ума, под влиянием грубых импульсов и лишенных всякой психики, - вот для таких опасно совершать убийство... Человек интеллигентный и рассудительный может, с невозмутимой ясностью, совершать всевозможные убийства, какие только пожелает. Он уверен в безнаказанности... Изошренность его комбинаций всегда превзойдет рутину полицейских розысков и, смело можем сказать, бедность судебного разбирательства, которыми забавляются судебные следователи... В этом деле, как и везде, мелюзга платится за великанов... Понимаете ли, дорогой мой, вы согласитесь, что количество нераскрытых преступлений...

- И терпимых...

- И терпимых... я именно и хотел это сказать... Итак, вы согласитесь, что это количество в тысячу раз больше, чем количество преступлений раскрытых и наказанных, о которых газеты болтают с таким многословием и таким отвратительным отсутствием философии... Если вы согласитесь с этим, то вы также сознаете, что жандарм не является пугалом для избранников убийства...

- Несомненно. Но дело не в этом... Вы изменяете вопрос... Я сказал, что убийство вполне естественное, - а ничуть не исключительное, - действие природы и всякого живого существа. Однако непонятно, почему, под предлогом будто бы управления людьми, общество присвоило себе право убивать их, в ущерб единичным личностям, которым, и только им одним, и принадлежит это право.

- Вполне справедливо! - вмешался любезный и красноречивый философ, лекции которого в Сорбонне каждую неделю привлекали избранную публику. - Наш приятель вполне прав... Со своей стороны, я не верю, чтобы существовало хотя бы одно человеческое существо, которое не было бы - по крайней мере, в мыслях - убийцей... Знаете ли, мне иногда нравится в салонах, в церквах, на вокзалах, в кафе, в театре, всюду, где ходит, движется толпа, мне нравится наблюдать физиономии с определенной точки зрения - человекоубийства. По взгляду, по форме черепа, по челюстям, по скулам, все они, в какой-либо части своей индивидуальности, все они носят видимые следы той физиологической

фатальности, какой является убийство... Это – ничуть не заблуждение, так как я не могу сделать ни одного шага, чтобы не столкнуться с убийством, не заметить, как оно пылает под ресницами, не почувствовать его таинственного прикосновения в руках, пожимающих мою руку... В прошлое воскресенье я отправился в одну деревню, где был престольный праздник... На большой площади, украшенной ветками, цветочными арками, нарядными мачтами, были собраны всевозможные виды развлечений по обычаю таких народных гуляний... И под отеческим оком власти толпа честного народа развлекалась... Карусель, русские горы, качели привлекали очень мало народа... Напрасно органы выводили самые веселые арии и самые соблазнительные ритуалы. Другие развлечения влекли эту праздничную толпу. Одни стреляли из карабина, из пистолета или из старинного арбалета в мишени, изображавшие человеческие лица; другие мячиками сваливали марионеток, с жалким видом торчавших на деревянных перекладинах: те стучали колотушкой по пружине, патриотически приводившей в движение французского матроса, который прокалывал штыком бедного гаваса или жалкого дагомейца... Повсюду, под навесами и в маленьких освещенных палатках, подобия смерти, пародии убийства, всякие гекатомбы... И этот народ веселился.

Мы понимали, что философ в ударе... Мы лучше уселись, чтобы следить за потоком его теорий и анекдотов. Он продолжал:

– Я даже замечал, что эти мирные развлечения за последние несколько лет принимают значительное распространение. Наслаждение убийством сделалось больше и становится все более популярным по мере того, как нравы смягчаются, потому что на самом деле нравы смягчаются, в этом нет сомнения!.. Раньше, когда мы были еще дикими, домашние тиры были слишком жалки, так что на них едва смотрели. Тогда стреляли в трубки и в яичную скорлупу, танцующие на поверхности падающей воды. В самых роскошных помещениях, были, правда, и птицы, но они были из алебаstra... Какое тут удовольствие, спрашиваю я вас? В настоящее время прогресс идет быстрыми шагами; теперь всякому порядочному человеку вполне возможно испытать за два су нежное и цивилизирующее ощущение убийцы... Да еще через это выигрываешь раскрашенные тарелочки и кроликов... Вместо трубок, яичной скорлупы, алебастровых птичек, которые глупо колются, не вызывая перед нами ничего кровавого, ярмарочное воображение придумало фигуры мужчин, женщин, детей, тщательно сделанные и наряженные как следует... Потом эти фигуры заставляют жестикулировать и ходить... При помощи хитроумного механизма они важно гуляют или бегут в ужасе. Они появляются, по одиночке или группами, в декоративных пейзажах, взбираются на стены, входят в башенки, выскакивают через окна, поднимаются

по лестницам... Они производят те же движения, что и реальные существа: двигают рукой, ногой, головой. Бывают такие, что плачут... некоторые похожи на нищих... другие выглядят больными... бывают такие, которые одеты в золото, как легендарные принцессы. На самом деле можно вообразить, что у них есть ум, воля, душа... что они живые... Некоторые из них даже принимают патетические, умоляющие позы... Так и кажется, что слышишь, как они говорят: «Пощади! Не убивай меня!» Таким образом получается очаровательное ощущение: думаешь, что собираешься убивать предметы, которые шевелятся, движутся, страдают, которые умоляют! Наставляя на них карабин или пистолет, у вас во рту получается как бы вкус теплой крови. Какое удовольствие, когда пулька обезглавливает эти человеческие подобия! Как от радости топчешь ногами, когда стрела разрывает картонную грудь и валит на землю безжизненное маленькое тело, падающее, как труп! Всякий возбуждается, ожесточается, храбрится... Слышны только слова разрушения и смерти: «Убей же его! Целься ему в глаз? Целься ему в сердце! Готов!» Насколько равнодушным остается этот честный народ перед картонажами и трубками, настолько он возбуждается, если цель представлена человеческой фигурой. Неловкие сердятся, но не на свою неловкость, а на марионетку, если они промахнулись... Они считают ее трусихой, осыпают ее непристойными насмешками, когда она, невредимая, исчезает за дверью башенки. Они вызывают ее: «Иди же сюда, несчастный!» И снова начинают стрелять в нее, пока не убьют. Понаблюдайте этих добродушных людей. В эти минуты это настоящие убийцы, существа, жаждущие только убивать. Грубый человекоубийственный инстинкт, дремавший в них, сразу просыпается при одной иллюзии, что они собираются уничтожить нечто живое. Потому что картонный или деревянный человек, гуляющий в соответствующей декорации, для них уже не игрушка, не кусок безжизненной материи. Видя его гуляющим, они бессознательно наделяют его жизненной теплотой, нервной чувствительностью, мыслью, всеми теми вещами, что так безумно приятно уничтожить, так сурово-сладко видеть истекающими от нанесенных ран. Они даже награждают этого маленького человечка политическими или религиозными убеждениями, противоположными своим, обвиняют его в том, что он – еврей, англичанин или немец, чтобы придать какую-то особенную ненависть к общей ненависти к жизни и таким образом удвоить личную месть, заранее предвкушаемую. Инстинктивное удовольствие убийства...

Тут вмешался хозяин дома, который из вежливости к своим гостям и из сострадания, чтобы дать немного передохнуть нашему философу и нам самим, мягко заметил:

– Вы говорите только о грубом народе, о крестьянах, которые, я согласен с вами, допускают убийство. Но невозможно, чтобы вы эти замечания применяли к «культурным людям», к «просвещённым лицам», людям светским, каждый час жизни которых отмечается победой над природными инстинктами и над дикой настойчивостью атавизма.

На это наш философ горячо возразил:

– Позвольте! Каковы привычки, каковы излюбленные развлечения тех, кого вы, мой дорогой, называете «культурными людьми» и «просвещёнными лицами»? Фехтование, дуэль, суровые споры, отвратительная стрельба по голубям, бои быков, разнообразные упражнения в патриотизме, охота... Все то, что действительно составляет регресс к эпохе варварской древности, когда человек – если можно так выразиться – был, в нравственном отношении, подобен большим хищным: зверям, которых он преследовал. Впрочем, не надо сожалеть, что охота пережила в мало измененном виде те нравы. Это – могучий клапан, через который «культурные люди» и «просвещённые лица» спускают не к большому для нас огорчению то, что всегда есть в них от разрушительной энергии и от кровавых страстей. Иначе, вместо того, чтобы гнаться за оленем, охотиться за кабаном, убивать неповинных птичек на лужайках, будьте уверены, что «культурные люди» спустили бы своих собак на нас, что нас с радостью свалили бы «просвещённые лица» выстрелом из ружья, что они и делают, когда имеют возможность, так или иначе с большой решимостью и – открыто сознаемся в этом – с меньшим лицемерием, чем грубые люди. О! Никогда не будем желать исчезновения дичи с наших лугов и из наших лесов! Она – наша спасительница и, в некотором роде, наша искупительница. Тогда, когда она сразу исчезнет, мы быстро заменим ее для деликатного развлечения «культурных людей». Дело Дрейфуса является для нас чудным примером этого, и никогда, по-моему, страсть к убийству и удовольствие от окоты на человека не были так откровенно и полно высказаны. Среди необыкновенных случаев и чудовищных дел, которыми оно ежедневно, в течение целого года, проявлялось, преследования на улицах Нанта г. Гримо самое характерное и вполне в обычае «культурных людей» и «просвещённых лиц», которые преследовали оскорблениями и угрозами смерти этого великого ученого, которому мы обязаны ценнейшими работами по химии. Всегда надо помнить, что Клиссонский мэр, «культурный человек», в письме, сделавшемся известным, воспретил г-ну Грима являться в свой город и сожалея, что современные законы не позволяют ему «вздернуть его повыше и покороче», как поступали с учеными в прекрасные времена древних монархий. За что этот чудный мэр был одобрен всеми, кого Франция считает такими изящными «светскими людьми», которые, по словам

нашего хозяина, ежедневно одерживают поразительные победы над природными инстинктами и над дикой настойчивостью атавизма. К тому же, заметьте, что именно из среды «культурных людей» и «просвещенных лиц» почти исключительно выходят офицеры, то есть люди, которые, не больше и не меньше злые и грубые, чем все другие люди, свободно выбирают профессию – впрочем, очень уважаемую, – вся сущность которой состоит в производстве над человеческой личностью самых разнообразных насилий, в отыскании, в умножении самого большого числа наиболее верных средств грабежа, уничтожения и смерти... Разве нет у нас военных судов, которым даны очень правильные и подходящие имена: Опустошение, Ярость, Ужас? А я сам?.. Ах, понимаете ли! Я уверен, что я не чудовище. Я считаю себя человеком нормальным, одаренным нежными, возвышенными чувствами, высшей культурой, всеми утонченностями цивилизации и общественности. Ну, и что же? Сколько раз я слышал внутри себя ворчащий повелительный голос убийства! Сколько раз я чувствовал, как из глубины моего существа поднимается к мозгу, в виде прилива крови, желание, резкое, страстное и почти непреодолимое желание убийства! Не думайте, что это желание проявляется во время страстных припадков, сопровождается внезапным и безотчетным гневом или соединяется с низким денежным интересом. Ничуть. Это желание рождается внезапно, – могучее, неоправдываемое ничем, ни из-за чего и ни к чему. На улице, например, перед спиной какого-нибудь незнакомого прохожего... Да, бывают спины, на улицах, так и просящие ножа... Почему?

После такой неожиданной откровенности философ на минуту остановился, осмотрев нас всех с боязливым видом. И продолжал:

– Нет, понимаете ли, моралисты спокойно могут осуждать убийство. Необходимость в убийстве рождается в человеке вместе с необходимостью в еде и сливается с нею. Эту инстинктивную необходимость, являющуюся двигателем всех живых организмов, воспитание развивает вместо того, чтобы обуздывать, религии освящают вместо того, чтобы проклинать ее; все это соединяется, чтобы сделать из нее ось, на которой вертится наше восхитительное общество. Как только человек пробуждается к сознательному существованию, ему тотчас же в мозг вдувается дух убийства. Убийство, возросшее до обязанности, восхваляемое, как героизм, сопровождает его на всех ступенях его существования. Его заставляют почитать странных богов, безумных богов, радующихся только катастрофам, и как маньяки жестокости, истребляющих человеческие жизни, косящих народы, как траву. Его заставляют почитать только героев, этих отвратительных зверей, покрытых преступлениями и совершенно красных от человеческой крови. Добродетели, через которые он

возвысится над другими и которые принесут ему славу, богатство, любовь, опираются единственно на убийство. В войне он находит высший синтез вечного и всеобщего безумия убийства, убийства упорядоченного, внесенного в роспись, обязательного, составляющего национальный долг. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, всегда он будет видеть это слово: «убийство», неизгладимо начертанное на фронте этой обширной бойни, которая называется человечеством. Итак, этот человек, которому привили с детства презрение к человеческой жизни, которого посвятили законному убийству, почему вы хотите, чтобы этот человек остановился перед убийством, когда он в нем находит выгоду или развлечение? Во имя какого права общество осуждает убийц, которые на самом-то деле только исполняют человекоубийственные законы, издаваемые обществом, и следуют даваемым им кровавым примерам? «Ведь, – могут в один прекрасный день сказать убийцы, – вы заставляли нас убивать кучи людей, против которых мы не имели никакой злобы, которых мы даже не знали; чем больше мы убивали их, тем больше вы благодарили и награждали нас! А потом, веря в нашу логику, мы истребили людей, потому что они стесняли нас и потому, что мы ненавидели их, потому что мы желали их денег, их жен, их место, или просто потому, что нам было приятно истреблять их; все ясные, извинительные и человеческие причины. И вот жандарм, судья, палач! Вот возмутительная несправедливость, в которой нет ни капли смысла». Что могло бы ответить на это общество, если бы оно хоть чуть-чуть заботилось о логике?

Один молодой человек, до сих пор не произнесший еще ни слова, сказал:

– В чем объяснение этой странной мании убийства, которой, как вы заявляете, мы все, по природе или через воспитание, заражены? Я не знаю этого объяснения и не хочу его знать. Мне приятнее верить, что все в нас – тайна. К тому же это соответствует лени моего ума, который боится разрешения социальных и человеческих вопросов, которых, впрочем, никогда не разрешить, и это укрепляет меня только в поэтических истинах, которыми я пробую разъяснить, или, скорее, не разъяснить того, чего я не понимаю. Вы, дорогой учитель, только что сделали довольно ужасное признание и описали ощущения, которые, если бы они приняли реальную форму, могли повести вас далеко, так же, как и меня, потому что я часто испытывал эти ощущения и в последний раз при очень банальных обстоятельствах. Но прежде всего позвольте мне прибавить, что этими ненормальными душевными состояниями я обязан, может быть, среде, в которой я вырос, и ежедневным влияниям, невольно проникающим в меня. Вы знаете моего отца, доктора Трепана. Вы знаете, что нет человека, более общительного, более милого, чем он. И нет человека, которого профессия сделала бы более смелым убийцей! Много раз я

присутствовал при тех чудесных операциях, что прославили его на весь свет. В его презрении к жизни есть что-то действительно чудесное. Раз, производя при мне довольно трудную лапаротомию, он, осматривая свою больную, все еще находившуюся во сне от действия хлороформа, вдруг сказал: «У этой женщины, должно быть, воспаление устья желудка. Не вскрыть ли ей и желудок? Время еще есть». И он так и сделал. У нее ничего не было. Тогда мой отец начал зашивать ненужную рану, заявив: «По крайней мере все исследовано». Это было для него тем хорошо, что больная умерла в тот же вечер. В другой раз, в Италии, куда его пригласили для операции, мы посетили один музей. Я был в экстазе. «Ах! Поэт, поэт!» – воскликнул мой отец, который ни на минуту не заинтересовался шедеврами, приведшими меня в восторг. «Искусство! Искусство! Красота! Знаешь ли ты, что это такое? Ну, мой мальчик, красота, это живот женщины, вскрытый, весь в крови, с щипцами внутри!» Но дальше я не философствую, а рассказываю... Вы из предложенного мною нам рассказа извлечете какие угодно антропологические заключения, какие есть в нем, если они есть в нем действительно...

У этого молодого человека в движениях была уверенность, в голосе резкость, которые немного заставляли нас вздрагивать.

– Я возвращался из Лиона, – продолжал он, – и был один в купе первого класса. Не помню, на какой-то станции вошел господин. Раздражение, что вас побеспокоили в нашем одиночестве, может вызвать наиболее грубые чувства и предрасположить вас к неприятным поступкам; с этим я согласен. Но я не испытал ничего подобного. Я так скучал от одиночества, что внезапный приход этого спутника скорее доставил мне даже удовольствие. Он поместился против меня, осторожно положив на сетку свой ручной багаж. Это был толстый человек, с вульгарными манерами, и его толстое и жирное безобразие скоро сделалось мне противным. Через несколько минут я испытывал, глядя на него, как бы инстинктивное отвращение. Он тяжело протянул на подушках свои раздвинутые ноги, и его огромный живот при каждом толчке вздрагивал и переваливался, как противный кусок студня. Так как ему, кажется, было жарко, он снял шляпу и вытер лоб, низкий, шероховатый, выпуклый, покрытый короткими, редкими и склеившимися волосами. Его лицо было простым куском живого мяса: его тройной подбородок, гадкий кусок дряблого жира, свешивавшийся ему на грудь. Чтобы избавиться от этого некрасивого зрелища, я решил смотреть на окрестности и старался совершенно забыть о присутствии этого неприятного спутника. Прошел час... И когда любопытство, более сильное, чем моя воля, перевело мои глаза на него, я увидел, что он спит некрасивым и глубоким сном. Он спал, уйдя весь в самого себя: голова его свесилась и раскачивалась на

плечах, а его жирные вздувавшиеся руки были распростерты на покатосях ляжек. Я заметил, что его круглые глаза выглядывали из-под сморщенных век, посреди которых, в отверстие, виднелся уголок голубоватых глаз, похожих на синяк на лоскуте дряблой кожи. Какое внезапное безумие охватило мою голову? Право, не знаю... Хотя меня часто соблазняло убийство, но желание оставалось во мне в зачаточном состоянии и еще никогда не принимало определенную форму жеста и действия. Могу ли я думать, что только отвратительное безобразие этого человека могло побудить меня к жесту и действию? Нет, есть более глубокая причина в этом, и я ее не знаю... Я тихо поднялся и подошел к спящему, раздвинул напряженные и крепкие руки, как бы готовясь задушить его...

На этом слове, как рассказчик, умеющий пользоваться эффектами, он остановился. Потом, с видимым удовлетворением самим собою, он продолжал:

– Несмотря на мой, более или менее болезненный вид, я одарен необыкновенной силой, редкой гибкостью мускулов, необычайной мощностью объятия, а в этот момент странное возбуждение увеличило силу моих физических свойств. Мои руки бессознательно подвигались к шее этого человека, – бессознательно, уверяю вас, – страстные и ужасные. Я чувствовал в себе легкость, эластичность, прилив нервных волн, как будто сильное опьянение от полового наслаждения. Да, что я тогда испытал, я не могу лучше всего сравнить ни с чем; как только с этим. В тот момент, когда мои руки готовы были сжаться на этой жирной шее, господин проснулся. Он проснулся с ужасом в глазах и бормотал: «Что? Что? Что?» И это все! Я видел, что он хочет сказать больше, но не может. Его круглый глаз дрожал, как маленький огонек, колеблемый ветром. Потом этот глаз в ужасе неподвижно уставился на меня. Не сказав ни слова, не подыскав извинения или объяснения, которое успокоило бы этого человека, я опять сел против него и небрежно, непринужденно, что до сих пор удивляет меня, развернул газету, которую, впрочем, читать не стал. Каждую минуту ужас в глазах спутника все увеличивался; понемногу мужчина скорчился, и я видел, как его лицо покрылось красными пятнами, потом посинело, затем окаменело. До Парижа взгляд его сохранил ужасную неподвижность. Когда поезд остановился, он не слез.

Рассказчик закурил сигарету от свечки и, выпуская изо рта дым, сказал своим флегматическим голосом:

– И не мог! Он был мертв! Я убил его, вызвав прилив крови к мозгу.

Этот рассказ подействовал на нас страшно тяжело, и мы с недоумением переглядывались... Был ли искренен этот странный молодой человек? Хотел ли он мистифицировать нас? Мы ждали объяснения, комментария, увертки. Но он молчал. Важный, серьезный, он принялся курить и сейчас, казалось, думал совсем о другом. С этого момента разговор продолжался безо всякого порядка, без увлечения, касаясь массы мелких предметов, совсем слабо...

Тогда один человек, с измученным лицом, с согбенной спиной, с тусклым взглядом, с преждевременно совсем седыми головой и бородой, поднялся с усилием и дрожащим голосом сказал:

– До сих пор вы говорили обо всем, кроме женщин, что действительно непонятно в вопросе, в котором они имеют главное значение.

– Хорошо! Поговорим об этом, – прибавил знаменитый писатель, очутившийся в своей любимой стихии, потому что в литературе он слыл за одного из тех любопытных дураков, которых называют представителями феминизма. – На самом деле пора чем-нибудь радостным рассеять эти кровавые кошмары. Поговорить о женщине, друзья мои, потому что именно в ней и через нее мы забываем свои дикие инстинкты, научаемся любить, возвышаемся до высшего понимания идеала и милосердия.

Человек с измученным лицом засмеялся, и в его смехе ирония заскрипела, как старая дверь, у которой заржавели петли.

– Женщина, учительница милосердия! – воскликнул он. – Да, знаю я эту поговорку. Она очень распространена в известной литературе, и в кругу салонной философии. Но вся ее история, и не одна только ее история, а и ее роль в природе и в жизни опровергают это совершенно романтическое положение. Тогда почему же женщины стремятся к кровавым зрелищам с таким же бешенством, как к сладострастию? Почему вы видите, как на улице, в театре, на суде, на гильотине они вытягивают шею, жадно раскрывают глаза при сценах Истязаний, до обморочного состояния испытывают ужасную радость при виде смерти? Почему какое-нибудь имя знаменитого убийцы заставляет их вздрагивать от какого-то приятного ужаса? Все они, или почти все, мечтают о Пранцини! Почему?

– Ну, вот еще! – воскликнул знаменитый писатель. – Проститутки...

– Нет, – возразил человек с измученным лицом, – важные дамы и буржуазки. У всех одно и то же. У женщин нет нравственных разграничений, есть только разграничения социальные. Вообще, они – женщины. В простом народе, в крупной и мелкой буржуазии и даже в самых высших слоях общества женщины набрасываются на эти отвратительные морги, на эти предметы криминального музея, какими являются фельетоны «Petit Journal». Почему? Потому что знаменитые убийцы всегда были сильными любовниками. Их половая мощь соответствовала их преступной мощи. Они любят так же, как убивают! Убийство рождается от любви, и любовь достигает максимума своего развития в убийстве. Тут – одна и та же физиологическая экзальтация – те же самые жесты объятий, те же самые укусы. И часто даже те же самые слова при одинаковых спазмах.

Он говорил с усилием, со страдальческим видом и, по мере того, как он говорил, глаза его делались все тусклее, а морщины лица становились все отчетливее.

– Женщина, проливающая идеал и милосердие! – продолжал он. – Но самые ужасные преступления – почти всегда дело женщины. Это она их измышляет, комбинирует, prepares, руководит ими. Если она не совершает их собственной рукой, часто слишком слабой, но в их характере жестокости, непреклонности чувствуется ее моральное присутствие, ее мысль, ее поле. «Ищите женщину!» – говорит мудрый криминалист.

– Вы клеветеете на нее! – запротестовал знаменитый писатель, не смогший скрыть жеста негодования. – То, что вы здесь показываете нам, как общее правило, есть очень редкое исключение. Вырождение, невроз, неврастения, черт возьми! Женщина не более, чем мужчина, освобождена от психических заболеваний, хотя у нее эти заболевания принимают очаровательную и трогательную форму, которая заставляет нас лучше понимать деликатность ее изящной чувствительности. Нет, милостивый государь, вы попали в плачевное и, осмелюсь сказать, преступное заблуждение... Чему надо удивляться в женщине, так это противоположности здравому смыслу – великой ее любви к жизни, которая, как я только что сказал, находит окончательное выражение в милосердии.

– Литература! Литература, милостивый государь! И худшая изо всех.

– Пессимизм, милостивый государь! Богохульство! Ерунда!

– Я думаю, вы ошибаетесь оба, – вмешался медик. – Женщины более утонченны и совершенны, чем вы это думаете. Как несравненные виртуозки, как величайшие артистки печали, каковые они и есть на самом деле, они предпочитают зрелище страдания зрелищу смерти, слезы – крови. А это – чудная двусмысленность, в которой всякий находит свое, потому что всякий может извлечь из нее совсем различные заключения, – восхищаться страданием женщины или проклинать ее жестокость, не одинаково неотразимым доводом, смотря по тому, как мы в данный момент расположены – благодарить ее или ненавидеть... А потом, к чему все эти бесплодные споры? В вечной борьбе полов мы всегда побежденные, мы ничего тут не можем поделать. Мы, женоненавистники или феминисты, мы еще не нашли, для своего удовольствия и для продолжения себе подобных, более чудного инструмента удовольствия и другого средства размножения, как женщина...

Но человек с изумленным лицом с бешеным раздражением замахал руками.

– Выслушайте меня, – сказал он. – Случайности жизни, – а какова была моя жизнь! – столкнули меня не с какой-нибудь женщиной, а именно с женщиной. Я видел, что она свободна ото всяких искусственностей, ото всякого лицемерия, которым ее покрывает цивилизация, как бы броней лжи, я видел ее действительную душу. Я видел ее отдавшейся одному только капризу или, если это вам кажется лучшим, единственному господству своих инстинктов, в среде, где ничто, правда, не могло их задержать, где все, напротив, сговорилось возбуждать их. Ничто не скрывало от меня ее, ни законы, ни нравы, ни религиозные предрассудки, ни общественные условия... Я видел ее в настоящем цвете, в природной наготе, посреди садов и Истязаний, крови и цветов! Когда она появилась передо мной, я опустился на самое дно человеческого падения – по крайней мере, я так думал. Тогда, перед ее любовными глазами, перед ее сострадательными устами, я призывал надежду, я верил, да, я верил, что через нее я буду спасен. Ну, что же? Это было что-то чудовищное! Эта женщина познакомила меня еще с неведомыми для меня преступлениями, познакомила с мраком, в который я еще не спускался. Взгляните на мои мертвые глаза, на мой рот, не умеющий больше говорить, на мои дрожащие руки. И это только оттого, что я увидел ее! Но я не могу проклинать ее, как не проклинаяю огня, пожирающего города и леса, воду, поглощающую корабли, тигра, утаскивающего кровавую добычу в свое логово в глубине джунглей...

В женщине есть космическая сила, непобедимая сила разрушения, как в природе. В ней одна вся природа! Будучи чревом жизни, она, через это, и чрево

смерти, потому что именно из смерти непрерывно возрождается жизнь, и потому что уничтожить смерть, значит, убить жизнь в ее единственном источнике плодородия.

– А что же это доказывает? – спросил медик, пожимая плечами.

Тот просто ответил:

– Это ничего не доказывает. Разве печаль или радость нуждаются в доказательствах? Они нуждаются только в чувствах.

Потом робко и – о, могущество человеческого самолюбия! – с видимым довольством самим собою, человек с измученным лицом вытащил из кармана сверток бумаг и заботливо разгладил его.

– Я написал, – сказал он, – рассказ об этой части моей жизни... Долго я колебался опубликовать его, колеблюсь еще и теперь. Я хотел бы прочесть его вам, вам – мужчинам и не боящимся проникать в самый мрак человеческих тайн. Однако и вы почувствуете от него кровавый ужас! Рассказ называется: «Сад Истязаний».

Наш хозяин велел подать еще сигар и напитков...

Часть первая. Командировка

Прежде чем говорить об одном из самых ужасных эпизодов моего путешествия на Дальний Восток, может быть, будет интересно коротко объяснить, при каких условиях мне пришлось предпринять его. Это имеет отношение и к современной истории.

Тем, у кого может возникнуть недоумение перед псевдонимом, который я во всем, что касается меня, ревниво оберегал в течение всего этого скорбного и печального рассказа, я скажу: «Что значит мое имя? Это – имя незнакомца, который причинил много горя другим и себе, и себе даже больше, чем другим, и который после многих потрясений, чтобы когда-нибудь быть в состоянии.

спуститься до дна человеческих желаний, пытается укрепить душу в одиночестве и безызвестности. Мир праху его греха».

Глава 1

Двенадцать лет тому назад, не зная более, что делать, и вынужденный целым рядом неудач прибегнуть к тяжелой необходимости или повеситься, или броситься в Сену, я выступал на выборах – последнее средство – в одном департаменте, где, впрочем, я никого не знал и где никогда и не был.

Правда, моя кандидатура официально поддерживалась кабинетом, который, не зная совершенно, что делать со мной, таким образом, нашел остроумный и деликатный способ раз и навсегда избавиться от моих ежедневных, настойчивых приставаний.

По этому случаю я получил торжественную и вместе с тем дружескую аудиенцию у министра, который был моим приятелем и давнишним школьным товарищем.

– Видишь, насколько мы любезны к тебе, – сказал мне этот могучий, великодушный друг. – Только что вытащили тебя из когтей правосудия – и из-за этого у нас были кое-какие неприятности, – как мы собираемся сделать из тебя депутата.

– Я еще не выбран, – сказал я ворчливым тоном.

– Конечно. Но за тебя все шансы. Интеллигентный, соблазнительный своей личностью, ловкий, добрый малый, когда ты этого захочешь, ты обладаешь высшим даром нравиться. Люди, нравящиеся женщинам, мой милый, всегда нравятся и толпе. Я отвечаю за тебя. Дело только в том, что надо хорошенечко понять положение. Впрочем, оно очень просто.

И он начал поучать меня:

– Особенно, чтобы не было политики! Не обязывайся, не вовлекайся! В том округе, который я выбрал тебе, существовал только один вопрос, превышавший все остальные: свекловица... Остальное в счет не идет и относится к префекту. Ты – чистейший сельскохозяйственный кандидат. Даже лучше: исключительно свеклопроизводительный. Никогда не забывай этого. Что бы ни могло произойти в пылу борьбы, непреклонно держись на этой чудной платформе. Ты хоть что-нибудь понимаешь в свекловице?

– Ей-Богу, нет! – ответил я. – Я только и знаю, как и всякий, что из нее извлекают сахар... и алкоголь.

– Bravo! Этого довольно, – аплодировал министр с успокаивающей и дружеской авторитетностью. – Следуй прямо этому положению. Обещай сказочные доходы, необыкновенные и даровые химические удобрения, железные дороги, каналы, шоссе для перевозки этого интересного и патриотического продукта. Объяви об уменьшении налогов, премии производителям, суровые законы по отношению к конкурирующим веществам, все, что хочешь! Во всех вещах подобного рода предоставляю тебе *carte blanche*, и я поддержу тебя. Но не позволяй себе увлекаться личной или общей полемикой, которая может быть опасна для тебя и после твоего избрания скомпрометировать престиж Республики. Потому что, мой милый, между нами будет сказано, – я ничуть не упрекаю тебя, я только констатирую факт, – у тебя слишком незавидное прошлое.

Я не был расположен напрасно шутить. Задетый этим замечанием, которое показалось мне бесполезным и невежливым, я горячо возразил, смотря прямо в лицо моего друга, который в моих глазах мог прочесть сгущенную, ясную и холодную угрозу.

– Ты более справедливо мог бы сказать: «у нас». Мне кажется, что твое прошлое, дорогой товарищ, не может ни в чем позавидовать моему...

– О, я! – произнес министр с видом высшего равнодушия и комфортабельной беззаботности, – это совсем другое дело... Я, дорогой мой, я прикрыт Францией!

И, вернувшись к моему избранию, он добавил:

– Итак, я заключаю. О свекловице, еще раз о свекловице, всегда о свекловице! Такова твоя программа. Постарайся не выходить из нее.

Потом он скромно вручил некоторую сумму и пожелал счастливого успеха.

Я верно следовал программе, начертанной моим могущественным другом, и ошибся. Я не был избран. Подавляющее большинство, поданное за моего противника, я приписываю, кроме некоторых беззаконных махинаций, тому, что этот дьявол был еще невежественнее меня и более отъявленный мошенник.

Мимоходом заметим, что нагло выставляемое мошенничество в наше время заменяет все качества, и чем человек бесчестнее, тем более он имеет шансов, что в нем признают интеллектуальную силу и нравственную ценность.

Мой противник, который теперь в политике один из наименее сомнительных знаменитостей, воровал при всевозможных условиях своей жизни. И его превосходство происходило от того, что он, ничуть не думая скрываться, хвастался еще этим с самым возмутительным цинизмом.

– Я воровал, я воровал, – возглашал он на деревенских улицах, на публичных площадях, по дорогам, на полях...

– Я воровал, я воровал, – публиковал он в своих исповеданиях, на стенных афишах и в секретных циркулярах.

И в кабаках, усевшись на бочки, его агенты, совершенно облитые вином и багровые от алкоголя, повторяли, разглашали эти магические слова:

– Он воровал, он воровал...

Восхищенное трудовое население города не менее, чем и мужественное население деревень, восхваляли этого гордого человека с неистовством, которое увеличивалось каждый день в прямом соотношении с безумством его признаний.

Как я мог бороться с соперником, обладающим таким послужным формуляром, я, у которого еще на совести ничего не было, кроме мелких юношеских грешков, и то тщательно скрываемых, как, например, домашние кражи, вымогательства у любовниц, передергивания в игре, шантажи, анонимные письма, распущенность и подлоги? О, наивность неопытной юности!

Раз вечером, на одном публичном собрании меня даже чуть не убили разъяренные избиратели за то, что, после скандальных заявлений моего противника, я потребовал при первенстве свекловицы права на добродетель, на нравственность, на честность и заявил о необходимости очистить Республику от личных нечистот, обещивающих ее. На меня набросились; меня схватили за горло; моя особа, поднятая вверх и перебрасываемая, как комок бумаги, переходила от кулака к кулаку. К счастью, от этого приступа красноречия я получил только опухоль на щеке, три переломанных ребра и шесть вышибленных зубов.

Вот все, что я вынес из этого печального приключения, на которое натолкнула меня так неудачно протекция министра, называвшего меня своим другом.

Я выходил из себя.

Я тем больше имел право выходить из себя, что вдруг, в разгаре самой борьбы, правительство покинуло меня, оставило без поддержки, с моим единственным амулетом – свеклой, и начало переговариваться с моим противником.

Префект, сначала очень скромный, не замедлил сделаться очень нахальным; потом он отказал мне в сведениях, необходимых для избрания; наконец, он закрыл, или почти закрыл, дверь передо мной. Сам министр больше не отвечал на мои письма, не делал ничего, о чем я его ни просил, а преданные газеты повели против меня глухую атаку гнусными намеками под вежливой и расцвеченной формой. До того, чтобы на меня нападать официально, еще не дошли, но было ясно для всех, что меня покинули. А! Я думаю, что никогда столько горечи не проникало в душу ни одного человека.

Вернувшись в Париж, твердо решив произвести скандал, рискуя потерять все, я потребовал объяснений от министра, которого моя атака тотчас же сделала мягким и согласным.

– Дорогой мой, – сказал он мне, – я сожалею о том, что случилось с тобой. Честное слово! Ты видишь, как все это огорчило меня. Но что же я могу? Ведь я не один в кабинете... и...

– Я знаю только тебя! – горячо прервал я, ударив кулаком по столу, отчего привскочила находившаяся на нем груда бумаг. – До других мне нет дела... Другие меня не касаются... Только ты... Ты изменил мне; это неблагородно!

– Ну, подожди! Выслушай меня, понимаешь ли, – умолял министр. – Не сердись раньше, пока не узнаешь.

– Я знаю только одно, и с меня достаточно этого. Ты продал мою голову. Ну, что же. Это даром не пройдет, как ты думаешь. Теперь моя очередь.

Я ходил по кабинету, выбрасывая угрозы, производя беспорядок в стульях.

– А! А! Ты продал мою голову! Теперь посмеемся мы. Наконец страна узнает, что за фрукт этот министр. С риском отравить страну, я покажу ей, я открою перед ней всю великую душу министра. Глупый! Разве ты не понимаешь, что я держу тебя целиком, тебя, твоё состояние, твои секреты, твой портфель! А! Мое прошлое стесняет тебя? Оно стесняет твою чистоту и чистоту Марианны? Хорошо, подождем. Завтра, да, завтра все будет известно...

Я задыхался от гнева. Министр попробовал успокоить меня: взять меня за руку, тихо притянуть меня к креслу, с которого я соскочил.

– Но замолчи же! – сказал он мне, придав своему голосу умоляющие интонации. – Выслушай меня, умоляю тебя! Ну, сядь! Дьявол, который не хочет ничего слушать! Вот в чем дело...

Быстро, короткими рублеными фразами он говорил с дрожью в голосе:

– Мы не знали твоего конкурента. В борьбе он показал себя великим человеком. Настоящим государственным деятелем! Ты знаешь, как мало министерских людей! Ведь у нас постоянно одни и те же, а нам нужно время от времени показать палате и стране новую фигуру. А таких нет. Ты это понимаешь? Ну, вот мы и подумали, что твой конкурент может быть одной из таких фигур. У него все качества, соответствующие временному министру, министру во время кризиса. Наконец, он подкупен, понимаешь ли? Признаюсь, досадно за тебя. Но прежде всего интересы страны.

– Не говори же пустяков. Ведь здесь мы не в палате. Дело не в интересах страны, над которыми ты смеешься, и я так же. Дело во мне. Благодаря тебе, я выброшен на улицу. Вчера вечером кассир моего клуба решительно отказал мне в ста су. Мои кредиторы, рассчитывавшие на успех, в бешенстве от провала и преследуют меня, как зайца. Меня продадут. Сегодня мне не на что обедать! И ты добродушно думаешь, что это может так и пройти? Значит, ты сделался глупым, таким же глупым, как член твоего большинства!

Министр улыбался. Он фамильярно похлопал меня по плечу и сказал:

– Я в твоём распоряжении, но ты не даешь мне выговорить; я вполне согласен дать тебе вознаграждение.

– У-до-вле-тво-ре-ние!

– Хорошо, удовлетворение!

– Полное?

– Полное! Приходи через несколько дней. Я тогда, несомненно, буду в состоянии дать тебе его. А пока вот сто луидоров. Это все, что осталось у меня от секретных фондов.

Он мило, с дружеской веселостью, прибавил:

– Полдюжины таких молодцов, как ты... И нет больше бюджета!

Эта щедрость, очень значительная, чего я не ожидал, была в состоянии немедленно успокоить мои нервы. Я положил в карман – все еще ругаясь, потому что не хотел показать себя ни обезоруженным, ни довольным – два билета, протянутые мне с улыбкой моим другом. И с достоинством удалился.

Следующие три дня я провел в самом низком дебоше.

Позвольте мне еще одно отступление. Может быть, небезразлично будет сказать, кто я такой и какого происхождения...

Таким образом будет лучше выяснена ирония моей судьбы.

Я родился в провинции в одной семье мелкой буржуазии, той честной мелкой буржуазии, экономной и добродетельной, которая, как нас учат официальные речи, и является настоящей Францией... Что делать! Особенно я этим не горжусь.

Мой отец был торговцем хлебом. Это был очень грубый, малоотесанный человек, но чудесно разбирался в делах. Он пользовался репутацией очень ловкого человека, и его ловкость состояла в «выставлении людей», как он говорил. Обмануть на качестве и весе товара, заставить заплатить два фунта за то, что ему самому стоило два су. И, когда можно было без большого скандала, заставить заплатить два раза, – вот каковы были его принципы. Например, он никогда не продавал овса, не намочив его предварительно в воде. Таким образом разбухшие зерна увеличивались вдвое и в объеме, и в весе, особенно когда они были приправлены мелким песком, – операция, которую мой отец всегда проделывал сознательно. Он также чудесно умел примешивать в мешки зерна спорыньи и другие ядовитые семена, отброшенные при просеивании, и никто лучше его не смешивал испорченную муку со свежей. В торговле ничто не должно пропадать, и в ней все придает вес. Моя мать, еще более жадная на мелкие барыши, помогала ему в изобретательных надувательствах, и жестокая, недоверчивая, стояла на страже кассы, как выставляют стражу перед врагами.

Строгий республиканец, горячий патриот, – он поставлял на один полк, – нетерпимый моралист, наконец, честный человек в популярном значении этого слова, мой отец казался безжалостным, не извиняющим ничего в нечестности других, особенно когда эта нечестность приносила ему убыток. Тогда он был неиссякаем в речах о необходимости честности и добродетели. Одной из самых важных его мыслей было, что в строгой демократии их необходимо сделать обязательными, как обучение, налоги. Раз он заметил, что один возчик в течение пятнадцатилетней службы обкрадывал его. Немедленно он попросил арестовать его. На суде возчик оправдывался, как только мог:

– Но у хозяина только и был вопрос – «выставить» кого-нибудь. Когда он одурочит какого-нибудь покупателя, то он этим хвалится, как хорошим поступком. «Все – это уметь вытягивать деньги, – говаривал он, – а какое дело, откуда и как они вытягиваются? Продать старого кролика за хорошую корову, – вот весь секрет торговли». Ну, что же! Я и поступил, как сам хозяин поступал со своими покупателями. Я выставил его.

Этот цинизм не понравился судьям. Они осудили возчика на два года тюрьмы, не за то только, что он украл несколько килограммов хлеба, но, главным образом, за то, что оклеветал один из старейших торговых домов округа. Торговый дом, основанный в 1794 году, и старинная прочная и непреклонная честность которого восхищала весь город от мала до велика.

Я помню, что вечером после этого знаменитого суда мой отец собрал у себя несколько приятелей, таких же торговцев, как он сам, и так же, как он, проникнутых этим просительным принципом «выставлять людей», – этой душой торговли. Что они негодовали по поводу предательских показаний возчика, вы сами должны понимать. Только об этом и говорили до полуночи. И посреди восклицаний, афоризмов, споров и маленьких стаканчиков выжимок вина, которыми ознаменовали этот памятный вечер, я удержал следующее правило, которое было, так сказать, моралью этого происшествия и в то же время синтезом моего воспитания:

– Взять что-либо у кого-нибудь и присвоить его, это – воровство. Взять что-либо у кого-нибудь и передать его другому в обмен на сколько возможно большее количество денег, это – торговля. Воровство тем больше глупо, что оно довольствуется только одним барышом, часто опасным, тогда как торговля приносит два барыша без риска.

Вот в такой нравственной атмосфере я рос и развивался, в некотором роде совсем один, без другого руководителя, кроме ежедневного примера моих родителей. При мелочной торговле дети в большинстве случаев бывают предоставлены самим себе. Заняться их воспитанием нет времени. Они растут, как могут, смотря по своей природе и под вредным влиянием среды, большей частью низменной и ограниченной. Самопроизвольно и без чьего-либо принуждения, я подражал и принимал участие в домашних мелочах. С десятилетнего возраста у меня не было другого понятия о жизни, как о воровстве, и я был уверен, – о, вполне бессознательно, уверяю вас! – что «выставление людей» составляет единственное основание всех социальных

отношений.

Колледж определил странное и извилистое направление, которое я должен был дать своему существованию, потому что именно там я узнал того, кто позже должен был сделаться моим другом, знаменитым министром, Эжена Мортена.

Сын виноторговца, приготавливаемый к политической деятельности, как я к торговле своим отцом, который был главным избирательным агентом в округе, вице-президентом комитета гамбеттистов, освоителем различных лиг, групп сопротивления и профессиональных синдикатов, – Эжен с детства таил в себе душу «настоящего государственного человека».

Он внушал нам уважение своим очевидным превосходством в нахальстве и неделикатности, а также особенной манерой говорить, торжественно и пусто, что возбуждало наш энтузиазм. Кроме того он получил от отца полезную и завоевывающую манию к организации. В несколько недель он быстро преобразил двор колледжа во всевозможные виды ассоциаций и подассоциаций, комитеты и подкомитеты, в которые он выбирался сразу президентом, секретарем и казначеем. Тут были: ассоциации игроков в мяч, в волчок, в чехарду, ходок, комитет неподвижной гимнастики, лига трапеции, синдикат бега со сжатыми ногами и т. д. Всякий член этих разнообразных ассоциаций должен был вносить в центральную кассу, то есть в карманы нашего товарища, месячный взнос в пять су, который, кроме других преимуществ, давал право на получение трехмесячного журнала, издаваемого Эженом Мартеном для пропаганды идей и защиты интересов этих многочисленных группировок, «автономных и солидных», по его словам.

Дурные инстинкты, одинаковые у обоих, и сходные аппетиты скоро сблизили нас, его и меня, и из нашей тесной дружбы создали жадную и постоянную эксплуатацию наших товарищей, гордившихся вступлением в синдикаты. Я очень скоро осознал, что в этом сообществе не я был самым сильным; но в виду именно этого сознания я только еще прочнее прицеплялся к судьбе своего честолюбивого товарища. Не надеясь на равный раздел, я всегда был уверен, что получу кое-какие крохи... Тогда они удовлетворяли меня. Увы! – я никогда не получал ничего, кроме крошек от пирогов, пожираемых моим другом.

Позже я встретился с Эженом при одном трудном и печальном обстоятельстве моей жизни. В силу желания «выставить кого-нибудь», мой отец в конце концов был выставлен сам и не в переносном смысле, как он слышал от своих клиентов.

Несчастливая поставка, отравившая, кажется, целую казарму, была причиной того плачевного приключения, которое закончилось полным разорением нашего торгового дома, основанного в 1794 году. Мой отец, может быть, пережил бы свой позор, потому что он знал бесконечную снисходительность той эпохи; он не мог пережить разорения. Апоплексический удар унес его в один прекрасный вечер. Он умер, оставив нас, мою мать и меня, без средств.

Не имея возможности больше рассчитывать на него, я был принужден выпутываться лично и, вырвавшись из материнских причитаний, сбежать в Париж, где Эжен Мортен принял меня наилучшим образом.

Он понемногу поднимался. Благодаря парламентским протекциям, искусно эксплуатируемым, гибкости своей натуры, своему полнейшему отсутствию разборчивости, он начинал заставлять с уважением говорить о себе в прессе, в политике и финансах. Тотчас же он воспользовался мною для грязных делишек, и я также не замедлил, постоянно живя в его тени, добиться некоторой доли его значения, которым я не сумел воспользоваться, как должен был бы сделать. Постоянства в нечистоте, – вот чего больше всего мне не доставало. Я ничуть не испытывал запоздалых угрызений совести, сожалений, мимолетных желаний честности, нет, во мне есть какая-то дьявольская фантазия, преследующая и необъяснимая развратность, заставляющая меня вдруг, безо всякой видимой причины, бросать великолепно идущие дела, разжимать пальцы на самом лучшем образе сжатом горле. Обладая практическими качествами первого сорта, очень тонким пониманием жизни, смелостью задумать невозможное, исключительной способностью даже выполнить его, – у меня не было упрямства, необходимого деловому человеку. Нет ли, может быть, под негодеем, какой я есть, нет ли погибшего поэта? Нет ли мистификатора, которому нравится мистифицировать самого себя?

Однако в предвидении будущего и чувствуя, что, возможно, наступит день, когда мой друг Эжен захочет избавиться от меня, постоянно являвшегося для него гнетущим прошлым, я имел ловкость скомпрометировать его в скандальных историях и предусмотрительно сохранил о них в своих руках неоспоримые доказательства. Под боязнью падения Эжен должен был вечно таскать меня за собой, как каторжное ядро.

Официально у Эжена была одна любовница. Звали ее графиня Борская. Не очень молодая, но еще свежая и аппетитная, то полька, то русская, а часто и австриячка, – она, понятно, считалась немецкой шпионкой. Ее салон часто

посещался нашими знаменитейшими государственными людьми. Там делалась политика и там, при изобилии флирта, началось много значительных и подозрительных дел. Между самыми постоянными посетителями этого салона выделялся один левантринский финансист, барон К. – молчаливая личность цвета тусклого серебра, с мертвыми глазами, волновавший биржу своими колоссальными операциями. Было известно, по крайней мере, говорили, что за этой непроницаемой и молчаливой маской, действует одна из самых могущественных империй Европы. Чистейшее романтическое предположение, несомненно, потому что в этой испорченной среде никогда не известно, чем надо больше всего восхищаться: ее испорченностью или ее легковерием. Как бы то ни было, графиня Борская и мой друг Эжен Мортен страстно желали войти в игру таинственного барона, тем более страстно, что последний скрытым, но несомненным попыткам противопоставлял не менее скрытую и несомненную холодность. Я даже думаю, что эта холодность довела его до подачи совета, результатом которого для наших друзей была печальная развязка. Тогда они придумали напустить на упрямого банкира одну очень хорошенькую дамочку, интимную подругу дома, и в то же время напустить меня на эту очень хорошенькую дамочку, которая, под их влиянием, была вполне расположена милостиво допустить нас обоих, банкира, как серьезного человека, а меня для развлечения. Их расчет был прост, и я понял его с первого же момента: устроить меня на месте и таким образом я через дамочку, они – через меня сделаются владельцами секретов барона, вырываемых в моменты нежного забвения. Это можно было назвать политикой концентрации.

Увы! – демон развратности, посещающий меня в решительную минуту, когда я должен действовать, захотел, чтобы все произошло иначе и чтобы этот прекрасный проект разрешился очень некрасиво. За обедом, который должен был скрепить этот вполне парижский союз, я по отношению к дамочке выказал себя таким грубым, что она, вся в слезах, сконфуженная и рассерженная, скандально покинула салон и вернулась к себе вдовою любви нас обоих.

Маленький праздник был оборван... Эжен утащил меня в карету. Мы спускались по Елисейским Полям в трагическом молчании.

– Куда ты хочешь, чтобы я доставил тебя? – спросил меня великий человек, когда мы повернули за угол Королевской улицы.

– В вертеп... на бульвар... – ответил я с насмешкой. – Я тороплюсь немного подышать чистым воздухом в обществе честных людей.

И вдруг, с жестом отчаяния, мой друг ударил меня по колену и – о! я всю жизнь буду видеть перед собой злобное выражение его губ и ненавистный взгляд! – он вздохнул:

– Ну! Ну! Никогда из тебя ничего не выйдет. – Он был прав. И на этот раз я не мог обвинять его, что тут была его ошибка.

Эжен Мортен принадлежал к той школе политиков, которую под знаменитым именем оппортунистов, Гамбетта напустил на Францию, как стаю голодных хищных зверей. Он добивался власти только из-за материальных наслаждений, доставляемых ею, и из-за денег, которые такие опытные люди, как он, умеют черпать из грязных источников. Не знаю, почему, впрочем, я приписываю одному Гамбетте историческую честь изобретения этой угрюмой падали, продолжающей существовать и до сих пор, несмотря на все Панамы. Конечно, Гамбетта любил разврат: в этом демократе был развратник или, скорее, дилетант разврата, наслаждавшийся запахом человеческого разложения; но необходимо сказать в его защиту и в прославление их, друзья, которыми он окружал себя и которых случай еще более, чем разумное избрание, привязывал к его короткому счастью, имели силу самим и за свой риск броситься на вечную добычу, над которой столько челюстей ломали свои бешеные зубы.

Прежде чем дойти до Палаты, Эжен Мортен прошел все ремесла журналиста, даже самые нижние по своей планке, даже самые темные. Никогда не делаешь выбора, с чего начать: берешь то, что подвернется под руку... Страстным и быстрым – и, однако, обдуманном было его вступление в парижскую жизнь, – я понимаю ту жизнь, которая ведет от редакционных контор к парламенту, по пути заходя в полицейскую префектуру.

В то время не было ни одного значительного шантажа или какого-нибудь нечистого дела, в котором наш честный Эжен, раздираемый нетерпящей нуждой и разрушительными аппетитами, не был бы в некотором роде таинственной и живой душой. У него был гений соединить какую-нибудь большую часть прессы, чтобы прекрасно проводить обширные операции. Мне знакомы в этом запретном роде комбинации, составляющие чистейшие chef-d'oeuvre-ы, и обнаруживавшие в этом мелком провинциале, быстро обтесавшемся, удивительного психолога и чудного администратора дурных инстинктов. У него была скромность не хвастаться чистотой своих проделок и драгоценное искусство, пользуясь другими, никогда не выставляя свою личность в минуты опасности. С

неизменной ловкостью и великолепным знанием сферы деятельности он умел всегда избегать, обходя их, зловонные и грязные лужи исправительной полиции, в которые так неловко попадают многие. Правда, моя помощь – я говорю это без тщеславия – во многих обстоятельствах была ему не бесполезна.

Впрочем, это был чудный малый, да, на самом деле, чудный малый. Его можно было упрекнуть только в неловкости в манерах, постоянный признак его провинциального воспитания, и в вульгарных мелочах его слишком недавней элегантности, которые выказывались очень некстати. Но все это было только наружностью, великолепно скрывавшей перед плохими наблюдателями все то, что было в нем тонкого: пронизательное чутье, хитрую чуткость, все, что в его душе было жестокого и ужасного по упрямству.

Чтобы понять его душу, надо было видеть, – увы! сколько раз я видел это! – две складки, которые, в известные моменты, ослаблялись, опускали оба угла его губ и придавали его рту ужасное выражение... Да, это был чудный малый!

Двумя принятыми дуэлями он заставил замолчать неблагосклонность, которая шипит вокруг новых личностей, а его природная веселость, его добродушный цинизм, который охотно принимался за любезную парадоксальность, а также и его романы в конце концов завоевали ему репутацию, спорную, но удовлетворительную для будущего государственного человека. Он также имел чудесную способность говорить в продолжение пяти часок и все равно, по какому угодно поводу и никогда не высказать ни одной мысли. Его не прекращающееся красноречие лилось без остановки, без усталости: медленный, монотонный, убийственный дождь политического словаря, – то же самое по морским вопросам, как и по школьным реформам, по финансам, как и по изящным искусствам, по земледелию и по религии. Услужливый, когда это ничего ему не стоило, великодушный, даже расточительный, когда это должно было во много раз вознаградить его, высокомерный и раболепствующий, смотря по обстоятельствам и по людям, скептик без элегантности, развратник без утонченности, энтузиаст без искренности, остроумный без находчивости, – он был симпатичен всем. Поэтому его быстрое возвышение никого не удивило, не оскорбило. Напротив, оно было принято благосклонно различными политическими партиями, потому что Эжен не считался суровым сектантом, не разбивал ничьей надежды, ничьего честолюбия, и не упускалось из виду и то, что при случае было возможно сговориться с ним. Самое главное – дать цену.

Таким был человек, таков «чудный малый», на которого я возлагал свою последнюю надежду и который на самом деле держал в своих руках мою жизнь и мою смерть.

Можно заметить, что в этом едва очерченном наброске моего друга я скромно прятал себя, хотя я сильно и часто любопытными способами помогал его судьбе. Я много мог бы рассказать случаев, поверьте мне, не очень поучительных. К чему полная исповедь, когда угадывается вся моя бесчестность и так, не подчеркивая ее больше? А потом моя роль, рядом с этим смелым и осторожным мошенником, всегда была – я не скажу, незначительной, о, нет! – не достойной уважения. Вы рассмеялись бы мне в лицо, – но она осталась почти секретной. Да будет позволено мне сохранить эту темноту, почти молчаливую, которой мне хотелось бы покрыть эти годы свирепой борьбы и мрачных махинаций... Эжен не «признавал» меня. И я сам, благодаря довольно странному остатку чистоты, иногда испытывал непобедимое отвращение при одной мысли, что я мог сойти за его подставное лицо...

Впрочем, мне иногда случалось на целые месяцы терять его из виду, «бросать» его, как говорится, отыскивая средства в игорных домах, на бирже, в уборных дам полусвета, средства, которые мне надоедало требовать с политики и отыскание которых более подходило к моим вкусам по лени и по случайностям... Иногда, охваченный внезапной поэзией, я скрывался в каком-нибудь забытом уголке провинции и, перед лицом природы, наслаждался чистотой, безмолвием, нравственным возрождением, что, – увы! – недолго всегда продолжалось. И я в минуты тяжелых кризисов возвращался к Эжену. Он не всегда принимал меня сердечно, как я требовал от него. Было видно, что он очень хотел бы избавиться от меня. Но я сурово и сухо призывал его к действительности нашего взаимного положения.

Раз я ясно заметил, как в его глазах засветился огонек убийства. Я не обеспокоился и, тяжело опустив ему руку на плечо, как жандарм поступает с вором, сказал ему лукаво:

– А потом? К чему это поведет тебя? Сам мой труп обвинит тебя. Итак, не будь дураком! Я позволил тебе войти туда, куда ты хотел. Никогда я не препятствовал твоему честолюбию. Наоборот: я работал для тебя. Как мог. Честно. Разве неправда? Неужели ты думаешь, что должно быть весело для меня видеть тебя вверху, вращающимся в блеске, а себя внизу, глупо шлепающим по грязи? И, однако, одним щелчком это чудесное счастье, так

усердно воздвигнутое нами обоими...

– О! нами обоими! – свистнул Эжен.

– Да, нами обоими, каналья! – повторил я, раздраженный этой несвоевременной поправкой. – Да, одним щелчком, одним дуновением, ты это знаешь, я могу свергнуть вниз это чудесное счастье. Мне достаточно сказать только одно слово, мошенник, чтобы свести тебя от власти в каторгу, сделать из министра, каков ты сейчас, – ах, какая ирония! – каторжника, которым ты должен был бы быть, если бы существовало еще правосудие и если бы я не был самым последним из подлецов. Пусть! Я не делаю этого жеста, я не произношу этого слова. Я позволю тебе пользоваться восхищением людей и уважением иностранных дворов, потому что – понимаешь ли? – я нахожу это чудовищно смешным. Единственно, я хочу своей доли, понимаешь? Своей доли! А что именно я у тебя прошу? Я прошу у тебя мелочи. Ничего. Крошек. Тогда как я мог бы требовать всего, всего, всего, всего!.. Прошу тебя, не раздражай меня больше, не доводи меня до конца. Не заставляй меня делать драму. Потому что тогда, когда с меня довольно будет жизни, довольно грязи, этой грязи – твоей грязи, невыносимый запах которой я всегда чувствую на себе. Ну, тогда его превосходительство Эжен Мортен не будет смеяться, старина. Клянусь тебе в этом.

Тогда Эжен, с натянутой улыбкой, в то время, как складки его опустившихся губ придавали всей его физиономии выражение подлого страха и в то же время бессильного желания преступления, сказал мне:

– Но ты сумасшедший, раз говоришь мне все это! А к тому же зачем? Отказывал я тебе в чем-нибудь, простокваша?

И весело, усиливая жесты и гримасы, которые ошеломили меня, он комично прибавил:

– Хочешь орден, а?

Да, на самом деле это был чудесный малый!

Через несколько дней после бурной сцены, следовавшей за моим таким пламенным провалом, я встретил Эжена в одном дружеском доме, у доброй г-жи Г., куда мы оба были приглашены на обед. Наше рукопожатие было сердечным. Можно было сказать, что ничего неприятного не было между нами.

- Тебя совсем не видно, - упрекнул он меня тем тоном равнодушной дружбы, который у него был только вежливой ненавистью. - Значит, ты был болен?

- Да нет, я просто ездил забыться.

- Кстати, ты стал благоразумнее? Я очень хотел бы поговорить с тобой минут пять. Да, после обеда?

- Значит, есть новости? - спросил я с желчной улыбкой, по которой он мог видеть, что я не позволю провести себя, как не имеющую значения вещь.

- Новости? - произнес он. - Нет, ничего, один проект в воздухе. Надо посмотреть еще.

У меня на губах была совершенно готовая дерзость, когда госпожа Г., огромный пакет волнующихся цветов, пляшущих перьев, распущенных перьев, прервала это начало разговора. И вздохнув: «Ах, мой дорогой министр, когда же вы избавите нас от этих ужасных социалистов?» - она увлекла Эжена к группе молодых женщин, которые манерой, какой они были расставлены в одном углу залы, произвели на меня впечатление нанятых, как в кафе-концертах ночные создания, которые своими необыкновенными декольте и своими занятыми туалетами обманывают глаз.

У госпожи Г. была такая репутация, будто она играет важную роль в обществе и в управлении. Посреди бесчисленных комедий парижской жизни, приписываемое ей влияние было не самым комическим. Мелкие историографы мелких дел того времени серьезно рассказывали, приправляя свои рассказы блестящими параллелями из прошлого, что ее салон был отправным пунктом и собранием политических карьер и литературных имен, - следовательно, сборным пунктом всех как молодых, так и старых честолюбцев. Доверяя им, именно там фабриковалась современная история, замышлялось падение и возвышение министерств, заключались, вперемежку с гениальными интригами и

тонкими разговорами, – потому что это был салон для разговоров, – как внешние союзы, так и академические выборы. Сади-Карно, лично, – царствовавший тогда во французских сердцах, – говорят, относился с искусной осторожностью к этой опасной силе и, чтобы сохранить ее милость, он любезно посылал ей, за неимением улыбки, самые лучшие цветы из Елисейских садов и из городских оранжерей... Во времена своей или их молодости, – госпожа Г. не могла точно установить этого пункта хронологии, – будучи знакома с Тьером и Гизо, Кавуром и стариком Меттернихом, – эта античная особа сохраняла престиж, которым Республика любила украшаться, как традиционным изяществом, и ее салон пользовался выгодами посмертного блеска, который напоминал измельчавшей действительности настоящего эти знаменитые имена, приплетаемые ко всякому поводу.

Впрочем, в этот избранный салон шли, как на ярмарку, и я никогда не видел – я, видевший так много, – более странной социальной смеси и более смешного светского маскарада. Принимающие участие в политике, в журналистике, в космополитизме, в клубах, в свете, в театрах и соответствующие женщины, – все принимались ею и все входили в счет. Никто не был одурачен этой мистификацией, но всякий был заинтересован, чтобы подняться самому, поднять явно позорную среду, в которой многие из нас черпали не только мало почетные средства, но еще и единственное оправдание собственного своего существования. Впрочем, я думаю, что большинство салонов, таких знаменитых прежде, где собирались под самыми разнообразными видами блуждающие аппетиты политики и честолюбия литературы, довольно точно должны были походить на данный салон... И мне также не доказали, что этот салон существенно отличался от других, которыми перед нами хвалится по всякому поводу с лирическим энтузиазмом за их изящную моральную выдержку.

На самом-то деле госпожа Г., освобожденная от раздувания рекламами и от поэзии легенд, ограниченная строгим характером ее светлой индивидуальности, была только очень пожилая дама, совершенно простая, плохо воспитанная, в высшей степени порочная к тому же, которая, не будучи в состоянии более выращивать цветок порока в своем собственном саду, растила его в садах других со спокойным бесстыдством, причем не знаешь, что в этом бесстыдстве больше всего достойно восхищения – наглость или бессознательность. Профессиональную любовь, от которой она должна была отказаться, она заменила манией устраивать экстрасупружеские союзы и разлады, в которых для нее было радостно следить за ними, направлять их, покровительствовать им, прикрывая их, и, таким образом, прикосновением с другими запретными чувствами подогрывать свое старое сморщенное сердце. Всегда можно было

быть уверенным, что у этой великой политической деятельницы найдешь с благословением Тьера и Гизо, Кавура и старика Меттерниха – родственные души, совсем готовые адюльтеры, желания с поднятыми парусами, всевозможного рода любовь, приготовившуюся на выступление на час или на месяц: драгоценные средства в случае сентиментального разрыва для свободных вечеров.

Почему именно в этот вечер явилась у меня мысль пойти к г-же Г.? Не знаю. Потому что в этот вечер я был очень меланхоличен и не имел никакого желания развлекаться. Мой гнев на Эжена улегся, временно, по крайней мере. Его заменила страшная усталость, бесконечное отвращение, отвращение к самому себе, к другим, ко всему. С утра я серьезно думал о своем положении и, несмотря на обещания министра, – которому, впрочем, я решил не очень легко доверяться, – совсем не видел никакого подходящего выхода. Я понимал, что моему другу очень трудно было предоставить мне какое-нибудь официальное, постоянное положение, нечто почетно-паразитивное, административно вознаграждаемое, что дало бы мне возможность закончить свои дни мирно, уважаемым старцем, чиновником на пенсии. Прежде всего, вероятно, я скоро испортил бы это положение, потом со всех сторон поднялись бы конкурентские протесты во имя публичной нравственности и республиканской благопристойности, на которые запрошенный министр не знал бы, что ответить. Все, что он мог бы предложить мне, это, с помощью временных и убогих способов, несчастным бюджетным изворотом отсрочить неизбежный час моего падения. А потом я даже не мог вечно рассчитывать на этот минимум милости и протекции, потому что и сам Эжен не мог рассчитывать на вечную глупость публики. Тогда много опасностей угрожало бы кабинету и много скандалов, на которые повсюду делали бы все более и более ясные намеки некоторые газеты, недовольные своей долей в добыче, отравляли бы личную безопасность моего покровителя. Эжен держался у власти только наступательными выходками против непопулярных или побежденных партий, а также денежными подачками, которые, как я подозревал тогда и как позже было доказано, он получал из-за границы в объеме каждый раз на ливр тела отечества!

Помочь падению моего товарища, войти в доверие какого-нибудь возможного министерского лидера, через этого нового товарища приобрести как бы социальную невинность, – вот о чем я думал! Все меня толкало к этому, – моя натура, моя выгода, а также жестоко-сладостное удовольствие отомстить. Но я, не считая неуверенности и случайности, которыми сопровождалась эта комбинация, я не чувствовал в себе смелости на другой опыт, на начало подобных махинаций. Я сжег свою молодость с обоих концов. И я устал от этих

опасных и ненадежных приключений, которые к тому же куда могли завести меня? Я испытывал умственную усталость, омертвление в суставах моей деятельности; все мои способности уменьшились, сжатые неврастений. Ах! Как я сожалел, что не шел прямыми жизненными путями! В то время я искренно желал только жалких радостей буржуазной регулярности; и я не хотел больше, я не мог больше выносить тех скачков счастья, тех превратностей нужды, которые не оставляли мне ни минуты отсрочки и превращали мое существование в вечную и мучительную тоску. Итак, что же со мною будет? Будущее представлялось мне печальнее и безнадежнее зимних сумерек, опускающихся на больничные палаты. И какую новую подлость предложит мне подлый министр сейчас, после обеда? В какую невылазную грязь захочет он погрузить меня и заставить исчезнуть навсегда?

Посреди сутолоки я глазами искал его. Он носился, как мотыль, вокруг женщин. Ничто ни в голове, ни в плечах не указывало, что он носил тяжелый груз своих преступлений. Он был беззаботен и весел. И, видя его в таком настроении, моя злость к нему увеличилась чувством двойной беспомощности нас обоих, его – бессилием спасти меня от бесчестья, моим – ускорить его бесчестье. Да! Ускорить его бесчестье!

Не было ничуть удивительно, что я, разбитый этими сложными и мучительными заботами, потерял свою жизненность и что красивые создания, выставляемые и подобранные г-жою Г. для удовольствия своих гостей, не производили на меня никакого впечатления. Во время обеда я казался чистейшим дураком и едва обращался с каким-нибудь словом к своим соседкам, прекрасные шеи которых сияли посреди драгоценностей и цветов. Можно было подумать, что моя выборная неудача была причиной этого мрачного расположения моего духа, обыкновенно веселого и любезного.

– Мужайтесь! – говорили мне. – Что за ерунда, вы молоды! Надо привыкать ко всему в политической карьере. В следующий раз наверх стаете.

На эти фразы банального утешения, на вызывающие улыбки, на открытые шеи я мрачно отвечал:

– Нет... нет... Не говорите мне больше о политике. Это – подло! Не говорите мне больше о всеобщем голосовании. Это – идиотство! Я не хочу больше... я не хочу больше слышать, говорить об этом.

И г-жа Г., вдруг взволновавшаяся вокруг меня разноцветными и душистыми волнами цветов, перьев и кружев, шепнула мне на ухо с манерным замиранием и постыдным кокетством старой сводни:

– Понимаете ли, остается только одна любовь... Всегда существует только одна любовь! Попробуйте любви! Кстати, как раз сегодня вечером здесь есть одна молодая румынка... страстная, ах! И поэтесса, мой милый, и графиня! Я уверена, что она с ума сходит от вас. Впрочем, все женщины без ума от вас. Я представляю вас.

Я отказался от так грубо навязываемого предложения и в угрюмом молчании, нервный, ожидал конца этого нескончаемого вечера.

Раздираемый со всех сторон, Эжен только очень поздно смог присоединиться ко мне. Мы воспользовались тем, что одна знаменитая певица на минуту привлекла к себе всеобщее внимание, и удалились в какую-то маленькую курильню, освещенную слабым светом лампы на длинной подставке в розовом кропоне. Министр уселся на диван, закурил сигарету и, когда я небрежно сел против него верхом на стул и скрестил руки на спине, он важно сказал мне:

– Эти дни я много думал о тебе.

Несомненно, он ждал какого-нибудь слова благодарности, дружеского жеста, движения интереса или любопытства. Я оставался невозмутимым, стараясь сохранить тот вид высшего, почти оскорбительного хладнокровия, с которым и решился принять коварные предложения моего друга, потому что с начала вечера я старался убедить себя, что эти предложения должны быть коварными. Я нахально делал вид, что рассматриваю портрет Тьера, который за Эженом занимал верх панно, омраченный темными тенями боровшихся на его совершенно гладкой поверхности, все-таки выделяя белый хохол, который придавал особенное и полное выражение исчезнувшему облику. Шум праздника, смягченный спущенными занавесками, достигал до нас, как далекое жужжание. Покачивая головой, продолжал:

– Да, я много думал о тебе. Ну, трудно, очень трудно.

Снова он замолчал, казалось, раздумывая о важных вещах.

Мне хотелось продолжить это молчание, чтобы насладиться замешательством, в которое не могло не повергнуть моего друга это молчаливо-насмешливое отношение. Итак, еще лишний раз я увижу этого дорогого покровителя перед собой смешным и без маски, может быть, умоляющим! Однако, он оставался спокойным и, казалось, ничуть не беспокоился из-за слишком очевидной враждебности моего поведения.

– Ты не веришь мне? – сказал он твердым и спокойным голосом. – Да, я чувствую, что ты не веришь мне. Ты воображаешь, что я думаю, как бы только подсматривать за тобой... как другие... ведь правда? Ну, ты ошибаешься, мой милый. Впрочем, если этот разговор для тебя скучен... ничего нет легче прервать его.

Он как будто хотел встать.

– Я этого не говорю. – Запротестовал я, переводя взгляд с хохолка Тьера на холодное лицо Эжена. – Я ничего не говорил.

– В таком случае выслушай меня. Ты хочешь, чтобы мы хоть раз с полной откровенностью поговорили о наших взаимных отношениях?

– Хорошо. Я слушаю.

Столкнувшись с его самоуверенностью, я постепенно терял свою. В противовес тому, что я слишком тщеславно торжествовал, Эжен завоевывал свой авторитет передо мной. Я чувствовал, как он опять вырывается у меня. Я чувствовал это по свободе жеста, по почти изяществу движений, по твердости голоса, по полному обладанию собой, которые проявлялись у него только тогда, когда он замышлял свои самые рискованные проекты. Он тогда проявлял величавую обольстительность, какую-то притягательную силу, которой, даже предвидя это, трудно было сопротивляться. Я знал это. Однако, часто к своему несчастью, я испытывал на себе действие этого вредного очарования, которое не было для меня неожиданным. Что делать! Вся храбрость покинула меня; моя ненависть ослабела, и невольно я, снова почувствовав к нему доверие, так полно забыл прошлое, что это человек, в самые темные уголки непреклонной и грязной души которого я проник, этот человек стал казаться мне великодушным другом, героем доброты, спасителем.

И вот – ах! – я хотел бы быть в состоянии передать выражение силы, преступления, простодушия и благосклонности, которые он вложил в свои слова, – вот он мне что сказал:

– Ты довольно хорошо присмотрелся к политической жизни, чтобы знать, что существует степень могущества, когда самый бесчестный человек защищён сам от себя своими собственными низостями, а еще более от других их низостями... Для государственного деятеля есть только одна непоправимая вещь: честность! Честность неподвижна и бесплодна; она не понимает обращения в дело appetitов и честолюбий, – единственных двигателей, благодаря которым создается что-либо продолжительное. Доказательством может служить этот дурак Фавро, единственный честный человек в кабинете, и в то же время единственный человек, политическая карьера которого, по общему мнению, окончательно и навсегда погибла. Это говорит тебе, мой дорогой, что ведущаяся против меня кампания совершенно меня не волнует.

На вырвавшийся у меня двусмысленный жест он продолжал:

– Да, да. Я знаю – поговаривают о моей отставке, о моем близком падении, о жандармах, о Мазасе, «Смерть вора!»». Великолепно! О чем не говорят?! А потом. Это для меня смешно, вот и все. И ты сам, под предлогом, что ты считаешь себя замешанным в некоторые из моих дел – в которых ты заведовал, будем говорить о прошлом, только мелочами – под предлогом, что ты обладаешь, – по крайней мере, ты везде кричишь об этом, – несколькими важными бумагами, о которых, мой дорогой, я беспокоюсь, как вот об этом.

Не прерывая речи, он показал мне свою погасшую сигаретку, которую он сейчас же раздавил в пепельнице, стоявшей на маленьком лакированном столике.

– Ты сам, ты считаешь, что можешь владеть мною посредством угроз, заставляя меня петь, как какого-нибудь подозрительного банкира? Ты ребенок. Подумай немного. Мое падение? Не можешь ли ты сказать мне, кто же осмелится взять на себя ответственность за подобное безумие? Кто же не знает, что оно повлечет крушение слишком многих дел, до которых больше, чем до меня, нельзя дотрагиваться под страхом самоотречения, под страхом смерти? Потому что не одного ведь меня свергнут. Не одного меня украсят колпаком каторжанина. Ведь все правительство, весь парламент, вся Республика причастна, что бы они там ни делали, к тому, что они называют моей продажностью, моим взяточничеством, моим преступлением. Они думают, что они держат меня в

своих руках, а это я держу их! Будь покоен, я крепко держу их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/mirbo_oktav/sad-mucheniy

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)